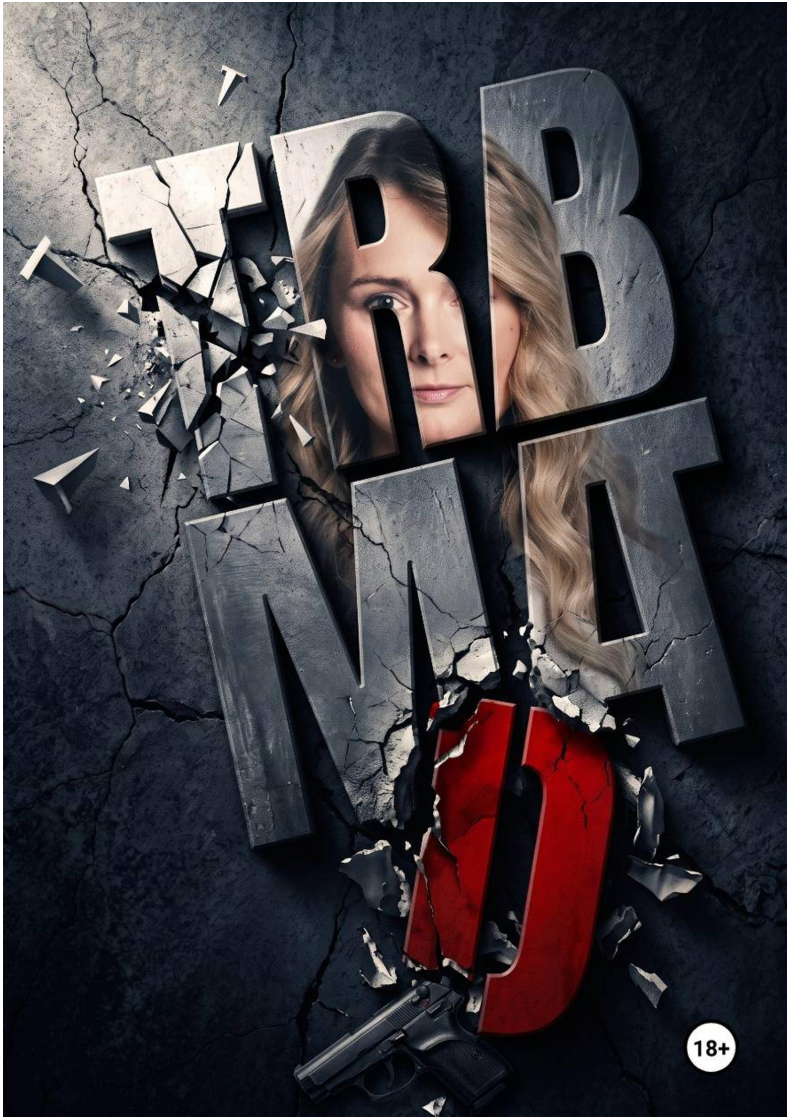

ТВИ
МЕ
ТО
18+

Наталья Спирина
ТравмАд

https://litres.ru/74768067
SelfPub; 2026

Аннотация

Эта история — не про героиню, которая всё преодолела и стала сильнее. Она — про маленькую девочку, которая однажды потеряла себя в тишине чужой усталости и в словах «не мешай», сказанных без злости, но навсегда врезавшихся в память. Про девочку, для которой безопасность значила быть незаметной, а любовь — угадывать желания взрослых до того, как они их произнесут.

Я пишу эту книгу как осторожный путь по хрупким следам прошлого: шаг за шагом, не торопясь, не сглаживая острых углов. Моя задача — не приукрасить её боль и не сделать её «удобной» для читателя. Я хочу бережно пронести её сквозь все главы — как хрупкий цветок, который чудом уцелел среди камней. Держать крепко, но так, чтобы не сломать стебель; защищать от ветра, но не прятать от света.

Эта история — о том, как долго можно жить, не замечая, что часть тебя осталась где-то в прошлом, в той самой прихожей, где пахло холодом и ожиданием.

Содержание

От автора	4
Пролог	6
Глава 1	12
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Наталья Спирина
ТравмАд

От автора

Эта история — не про героиню, которая всё преодолела и стала сильнее. Она — про маленькую девочку, которая однажды потеряла себя в тишине чужой усталости и в словах «не мешай», сказанных без злости, но навсегда врезавшихся в память. Про девочку, для которой безопасность значила быть незаметной, а любовь — угадывать желания взрослых до того, как они их произнесут.

Я пишу эту книгу как осторожный путь по хрупким следам прошлого: шаг за шагом, не торопясь, не сглаживая острых углов. Моя задача — не приукрасить её боль и не сделать её «удобной» для читателя. Я хочу бережно пронести её сквозь все главы — как хрупкий цветок, который чудом уцелел среди камней. Держать крепко, но так, чтобы не сломать стебель; защищать от ветра, но не прятать от света.

В каждой главе я буду стараться слышать её — ту маленькую, испуганную, старающуюся быть хорошей. И ту взрослую, в которой эта девочка всё ещё

живёт: вздрагивает от резких звуков, замирает перед конфликтом, улыбается, когда хочется плакать. Эта история — о том, как долго можно жить, не замечая, что часть тебя осталась где-то в прошлом, в той самой прихожей, где пахло холодом и ожиданием.

И о том, как однажды можно остановиться, оглянуться и тихо позвать: «Я здесь. Ты тоже здесь. Я тебя не потеряю».

Это будет честная история — без прикрас, без быстрых спасений, без фальшивых финалов. История о том, как учиться снова чувствовать себя живой.

Пролог

Меня зовут Вера, и мне тридцать семь лет. Я умею варить идеальный кофе. Знаю, как лечь в постель так, чтобы утром не помялся ни один сантиметр шёлка. Говорю «всё в порядке» шестнадцатью разными интонациями — для матери, для мужа, для начальницы, для соседа из квартиры напротив, который слишком часто спрашивает, как дела.

То, что я не умею, — останавливаться.

Мой день похож на трассу без обочин: кофе, отчёты, садик дочери, улыбки, ещё кофе, сомнение в тот момент, когда я выключаю свет, — и снова утро. Я давно не слышала собственного тела. В смысле — я слышала его, конечно: оно подводило меня перед выступлениями, сжимало в горле слова, которые не стоило произносить, дёргало за ворох мелких тревог. Но я относилась к этим сигналам как к неисправностям в машине. Их надо устранить, а не слушать.

Так я жила до той пятницы в октябре, когда мой тело — нет, лучше так: когда моё тело сказало мне слово, которое я не смогла проигнорировать.

Мы сидели в машине, Марк держал руку на рычаге передач, и он сказал: «Вер, нам надо поговорить». Три слова. Обычные три слова, которые произносят тысячи людей в тысячи машин. Но в меня ударил запах — нагретый металл, приборная панель, ещё что-то, что я не могу назвать до сих

пор, — и всё вокруг исчезло. Не в метафорическом смысле. Физически. Я сидела в кожаном кресле с подогревом, а не было ни кресла, ни подогрева, ни Марка. Была прихожая, светящийся фонарь под окном и тот особый холод в воздухе, который бывает только в тех квартирах, где экономят на тепле ради слова «надо».

Мне было шесть лет. Мне было шесть лет в теле, которому тридцать семь.

Потом я узнала, что у этого есть название. Что случилось со мной, имеет имя, историю, целую научную литературу. Позже психотерапевт объяснила мне, что травма не живёт в прошлом — она живёт в теле, в настоящем времени, и воспроизводит себя снова и снова, потому что тело помнит всё. Бессел Ван дер Колк, психиатр, всю жизнь изучавший травму, пишет об этом так: «Чувствовать себя в безопасности рядом с другими людьми — это, вероятно, важнейший аспект психического здоровья». Психического здоровья — как будто это про ум. А я узнала на опыте: когда этот базовый фундамент рушится в детстве, рушится не психика. Рушится способность быть в контакте — с миром, с людьми, с собой.

Гештальт-терапевты говорят о «незакрытых ситуациях». В детстве мы встречаем события, которые слишком велики для нас, и не завершаем их — не получаем ответа, поддержки, слова «это не твоя вина». Цикл застревает. И напряжение никуда не девается: оно оседает в дыхании, в осанке, в привычке не занимать много места, в умении читаться по чу-

жим лицам раньше, чем взрослый успеет что-то сказать. Человек взрослеет. Незакрытая ситуация — нет. Она продолжает своё движение, как поезд, у которого сорван график: летит по рельсам, проложенным много лет назад, и чем больше лет, тем дальше от станции отправления, но рельсы те же.

Мой поезд летел двадцать девять лет.

— Мама, ты меня слушаешь? — спрашивала Иванна, и я кивала, но слушала не её. Слушала другое: шорох газеты, который означал, что отец не в настроении; скрип дверь — то есть звук, который всегда предупреждал, сколько у меня есть секунд до того, как всё начнётся. Я выросла в квартире, где я училась быть тише. Тише — значит, безопаснее. Тише — значит, до тебя не доберутся. Я вынесла оттуда искусство исчезать, не покидая комнату, и поначалу это спасало.

Потом это же искусство убивало всё остальное.

Отец не был монстром — вот в чём беда. Монстра проще ненавидеть. Он был уставший, средний, довольно серый человек, который считал, что дети нуждаются в дисциплине, как растения в обрезке. Иногда он читал мне вечером книги и его голос был мягким. Иногда — и я никогда не знала, когда именно наступит «иногда» — голос делался другим. Непредсказуемость оказалась страшнее жестокости. Жестокость можно готовиться встретить. Непредсказуемость учится дрожать постоянно, и дрожь эта с годами становится фоном, нормой, вторым пульсом.

Матушка была там же, но видела нечто другое. Она гово-

рила: «Он не со зла». Она говорила: «Потерпи, вырастешь — сама поймёшь». Она говорила то, что говорит большинство, и это была её правда: у неё не было другого словаря. Но в моём теле эти слова записались как инструкция: твои чувства не имеют значения. Всё в порядке, даже когда не в порядке. Не в порядке — это и есть порядок.

Вы спросите, зачем я это рассказываю в прологе. Прологи обычно обещают историю. Я обещаю не историю, а распаковку: медленную, иногда неловкую работу с чемоданом, который я тридцать семь лет таскала за собой, уверенная, что это просто моя фигура. Рост, плечи, цвет волос — и вот этот чемодан. Я думала, он часть меня. Оказалось — груз.

Гештальт наука формулирует это коротко: ребёнок встречает мир и делает вывод. Вывод становится фигурой, вокруг которой выстраивается вся остальная жизнь. «Мир небезопасен». «Мои чувства — обуза». «Если меня увидят по-настоящему — увидят и раздавят». Каждый вывод в детстве был адаптацией, умным решением маленького человека в большой ситуации. Каждый вывод во взрослом возрасте стал тормозом. Тот самый ребёнок, который научился молчать, во мне до сих пор молчит — на супружеских ужинах, когда мне важнее всего сказать. Он до сих пор не просит: о помощи, о тепле, о взгляде. Он до сих пор проверяет лицо мужа, прежде чем сказать «мне больно», и если лицо неправильное — достаёт привычную улыбку, шестнадцатую по счёту, самую надёжную.

Марк не бил меня. Марк не кричал. Марк просто был тем, кем был: человеком, который вздрагивает, когда жена говорит слишком много, и который научился показывать своё «слишком много» дистанцией, молчанием за завтраком, отточенными фразами вроде «ты преувеличиваешь». Разве это травма? Разве это сравнится с тем, что случилось в детстве? Я двадцать лет отвечала на эти вопросы: нет, конечно, нет, у меня всё нормально, у меня же семья, карьера, квартира с двусторонним видом.

А потом в машине пахло нагретым металлом, и мне было шесть.

Терапевт дала мне простое упражнение. Сидеть и замечать. Что я чувствую в стопах. В кистях. В том месте между лопатками, где живёт моя собственная сторожевая служба, всегда наготове. Я сидела и, впервые за много лет, чувствовала, как быстро дышу. Как будто мне двадцать лет никто не сообщал, что у меня вообще есть дыхание. Ван дер Колк пишет, что человек, переживший травму, чувствует себя не в теле, а против тела — как будто тело — враг, с которым надо договариваться или которого надо превозмогать. Я поняла это не из книги. Я поняла это, когда впервые заметила, что я держу плечи поднятыми — всегда. На работе. В душе. Во сне. Двадцать лет подготовка к удару, которого не будет.

Эта книга — о том, как я останавливалась. О том, как тело, которое всю жизнь защищало меня ценой полужизни, медленно, упрямо, со срывами и откатами училось новому:

что можно опустить плечи. Что можно дышать в одиночку в комнате и не бояться, что кто-то сейчас откроет дверь. Что можно сказать «мне больно» и не исчезнуть в собственных словах.

Это не история преодоления с красивой дугой и финальными титрами. Это история о том, что закрытых дверей в человеке больше, чем мы думаем, и что за самыми глухими из них ждут не монстры — ждут дети. Ждут, когда их наконец спросят: что с тобой случилось? и поверят ответу.

Меня зовут Вера. Мне тридцать семь. Начиналось всё, как я уже говорила, с трёх слов в машине.

«Нам надо поговорить», — сказал Марк.

Я должна была бы ответить: «О чём?» — как отвечала всю жизнь.

Вместо этого я вдруг сказала правду. И это было начало конца — и начало всего остального.

Глава 1

Комната была маленькая, но вечером она становилась огромной — потому что в ней помещалось всё: тёмный угол за шкафом, ковёр с узором, на котором можно было сидеть очень тихо, окно, за которым дышала ночь, и дверь. Дверь была хуже всего. Дверь стояла на своём месте и знала больше всех.

Вера сидела на полу, подтянув колени к груди, и держала ладони под собой, чтобы они не дрожали. Ей было шесть лет, и она уже умела одно дело лучше всех взрослых на свете: слушать.

Скрипнула батарея — это ничего, батарея скрипит всегда, когда стынет. Прошуршала газета — это было хуже. Газету шуршал отец, когда читал в своём кресле, и от этого шороха у Веры внутри всё делалось узким, как горлышко бутылки. Она сидела и слушала, слушала, слушала — всем телом, каждой клеточкой. Тело знало раньше неё. Тело всегда знало раньше неё.

Оно знало по тому, как двигались тени под дверью. По тому, как хлопнула дверь на кухне — мягко или твёрдо. По тому, сколько секунд прошло между шагами. Хорошее настроение звучало как свист, как кастрюля на плите. Плохое настроение звучало тише. Тише всего на свете. Тишина была самым громким звуком в их квартире, и она означала, что

часы пошли, что счёт начался, что осталось недолго.

Тело Веры знало это и делало всё само. Плечи поднимались к ушам, как будто хотели закрыть лицо. Живот сжимался в маленький камень. Кожа на руках становилась холодной, хотя в комнате было тепло — тепло, от которого не греются. А когда Вера думала, что он сейчас придёт, что вот сейчас откроется дверь и она почувствует его руку — жёсткую, тяжёлую, пахнущую табаком и чем-то ещё, чем-то, от чего в памяти вспыхивал свет фонаря и запах нагретого металла, — её холодило так, будто она стояла босиком на ледяном полу в прихожей.

«Чудовище», — думала она иногда, но шёпотом, потому что даже в мыслях это слово было опасным. Чудовища живут в сказках, в них можно плевать из-под одеяла, они боятся света. А это чудовище носил папины тапочки и спрашивал по вечерам: «Ну, как дела у моей девочки?» — и от этого вопроса было невыносимо, потому что не знаешь, какой ответ правильный.

Она хотела уйти. Это желание было в каждой клеточке — в подошвах ног, которые не могли стоять спокойно, в пальцах, которые сжимали край ковра. Уйти бы — в окно, сквозь стену, сквозь пол, туда, где живёт соседский кот, где пахнет мокрым асфальтом. Но уйти было некуда. Комната заканчивалась стенами. Квартира заканчивалась дверью. А дверь заканчивалась им.

И была ещё одна причина, по которой Вера не уходила.

Мама. Мама была на кухне, и Вера слышала её через стенку — как звякала посуда, как включалась вода. Если Вера уйдёт, мама останется одна. А если Вера останется, может быть, всё обойдётся. Может быть, если сидеть очень тихо и быть очень маленькой — ещё меньше, чем она была, — он вспомнит про телевизор и вечер пройдёт. Вера верила в эту математику всем сердцем: её тихость минус его громкость равняется спокойному вечеру. Иногда это работало. Иногда не работало никогда.

За дверью скрипнул стул.

Всё внутри Веры упало — не в живот, а куда-то глубже, ниже живота, туда, где слов уже нет, а есть только древний, старше её самой страх. Она перестала дышать. Не специально — просто тело решило за неё, что если не дышишь, то тебя меньше. Если тебя меньше, то тебя и не видно. Если не видно — то и не достанут.

Шаги. Один. Второй. Коридор длинный, и шаги в нём звучат медленно, как будто у них впереди целая вечность и им некуда спешить. Вера вжалась в тёмный угол, спиной в холодную стену, и стала невидимкой, как только умела. Колени к груди. Лоб в колени. Руки — сверху, как крылья, как щит, как будто так можно закрыть хоть что-нибудь.

Дверь открылась не громко. Она никогда не открывалась громко — в этом и была вся страшная вежливость их дома. Свет из коридора упал на ковёр длинной жёлтой полосой, и на полосе легла его тень. Тень была большая. Тени всегда

больше человека, но Вера почему-то была уверена, что тень — это и есть он, а сам он где-то прячется внутри тени.

— Ну-ка, выходи, — сказал он. Голос был ровный. Ровный голос был хуже крика: крик кончается, а ровный голос может длиться всю жизнь.

Вера не вышла. Она не могла выйти — ноги не слушались, как чужие. Тогда свет качнулся, и он сам вошёл в комнату, и запах пришёл вместе с ним. Тот самый запах, от которого взрослой Вере однажды станет шесть лет, но это будет потом, через тридцать лет, а сейчас было сейчас.

— Твоя мама говорит, ты не убрала игрушки, — сказал он и присел на корточки, чтобы быть с ней на одном уровне. Так он всегда делал перед тем, как сделать то, что делал. Сначала — на уровень ребёнка. Потом — по-своему.

— Я убрала, — прошептала Вера в колени. — Я всё убрала.

— Что? Не слышу.

— Я всё убрала, — громче, и голос сорвался на конце слова, как ветка.

Он вздохнул. Вздох был долгий, терпеливый — так вздыхают взрослые, которым все вокруг виноваты. Рука легла ей на затылок. Не удар — рука просто легла, тяжёлая, тёплая, и от этой теплоты Вере стало хуже, чем от холода. Тело её окаменело полностью, окончательно, до самого конца — так замерзают в проруби, перестав бороться: не потому, что победили, а потому, что больше нет сил сопротивляться.

«Стой тихо, — говорило её тело той древней, проверенной правдой, которую оно выучило раньше алфавита. — Стой тихо, дождись, пока пройдёт».

Где-то на кухне звякала посуда. Мама мыла чашки. Мама всегда мыла чашки ровно в те минуты, когда он приходил. Вера знала это про маму и всё равно каждое воскресенье ждала чуда. Чуда не случалось. Но она ждала — потому что ждать было единственное, что ей оставили.

А потом всё случилось то, что должно было случиться, — и я не буду описывать это по косточкам, не потому что не помню. Помню. А потому что некоторые вещи рассказывают по-другому. Пусть в этой книге, как и в её памяти, будет тёмный угол за шкафом, полоса света на ковре и дверь, за которой рождалось горе.

Когда всё кончилось, Вера ещё долго сидела на полу и смотрела на узор ковра. В узоре были цветы — не настоящие, нитяные, красные с синим. Она выбрала один цветок и решила, что теперь это её цветок. Его никто не заберёт, потому что его никто не видит. Она будет сидеть на нём всегда, когда станет совсем страшно, и думать только про него, а не про то, что было.

Так она и научилась прятать себя — сначала в цветок на ковре, потом в слова «у меня всё нормально», потом в идеальный кофе, идеальные отчёты и идеальные улыбки для соседа.

Но в ту ночь ей было шесть лет, ей было очень страшно,

и она всё ещё была целая.

Ещё была.

Утро не вело себя как утро.

Оно должно было быть обычным: свет на занавесках, запах каши, радио на кухне, мама в халате в цветочек. Так бывает в книгах, которые Вере читали на ночь. Но в то утро свет лежал на полу как чужой, будто его впустили по ошибке, и всё в квартире двигалось осторожно, на цыпочках, вокруг большой невидимой вещи, которая стояла посреди коридора и о которой все делали вид, что её нет.

Вера знала эту вещь. Она лежала в ней самой — где-то под рёбрами, там, где вчера сжимался камень. Камень за ночь не растаял. Он стал только тяжелее, как будто впитал в себя всю темноту, пока она спала. А спала ли она? Она помнила ковёр. Помнила нитяные цветы, красные с синим. Помнила, что выбрала один и держалась за него взглядом до тех пор, пока глаза не начали слипаться.

Утром всё было как всегда, и от этого «как всегда» хотелось выть.

Отец уже ушёл на работу. Его отсутствие было заметнее присутствия: он оставил после себя чашку с недопитым чаем на самом краю стола, запах табака в прихожей и ту особую гладкость воздуха, какая бывает в комнате после грозы. Вера посмотрела на его чашку и отвернулась. Чашка была как сообщение, которое она не умела читать, но понимала кожей: он здесь был. И он вернется.

Мама стояла у плиты. Спина её была прямая — слишком прямая, такая прямая, как стоят люди, которые очень стараются не согнуться. Вера знала эту спину наизусть. У мамы было три спины: мягкая, когда она смеялась над мультиками; усталая, вечером, когда плечи опускались сами; и вчерашняя — та, каменная, с которой Вера столкнулась сегодня утром. Каменная спина означала: не подходи. Не спрашивай. Смотри мимо.

Вера подошла всё равно.

— Мам.

— Каша сейчас, — сказала мама, не оборачиваясь. Ложка стучала о края кастрюли ровно, ровно, ровно. По этому стуку можно было играть, как по метроному: тик-так, тик-так, не подходи, тик-так.

— Мам, я хочу спросить.

Ложка замерла на пол удара. Меньше секунды. Но Вера услышала эту заминку так ясно, как будто кто-то выключил музыку в середине слова. Потом стук продолжился.

— Спрашивай, — сказала мама всё так же в спину.

Вера стояла и держала вопрос в руках. Он был тяжёлый, этот вопрос. Она неслась его всю ночь, как несут спящего котёнка: бережно, боясь разбудить. Она собирала его из кусочков — из запаха, из тени на ковре, из маминых чашек, которые звенели всегда не вовремя. И теперь, когда пришло время, он не хотел выходить. Вопросы, которые запрещено задавать, живут в глубине и хватаются за края, как корни.

— А папа… — начала Вера и запнулась. Слова рассыпались. Она собрала их заново. — А почему папа бывает такой? Ну… когда вечером. Почему он такой?

Тишина.

Не та тишина, которая просто стоит между словами. Другая. Живая, тяжёлая, набухшая — как небо перед дождём. Вера видела, как у мамы на спине, между лопаток, проступили две точки пота сквозь халат. Она слышала, как мама дышит: носом, коротко, как будто воздух стал дорогим.

— Какой — «такой»? — спросила мама. Голос у неё был ровный. Вера вздрогнула: ровный голос. Как у него. Оказалось, ровные голоса есть не только у чудовищ.

— Ну… такой. Когда… — Вера смотрела в пол. На линолеуме был узор: ромбики, ромбики, ромбики. Она считала их, чтобы было легче.

— Когда злой. Когда ты уходишь мыть чашки.

Она сказала это и сразу поняла, что сделала что-то непоправимое. Потому что ложка вообще перестала стучать. И вода, которая текла, была выключена. И мама повернулась.

Мама была бледная. Не такая, как в сказках, — как молоко, как занавески, как всё белое в этой кухне. Губы у неё были тонкие, сжатые в ниточку. А глаза — вот чего Вера не ожидала — глаза были мокрые. Не заплаканные. Мокрые, как будто слеза стояла в них, налитая до краёв, и один неправильный вдох — и перельётся.

— Ты что такое говоришь? — тихо спросила мама.

Вера почувствовала, как земля под ногами становится косой. Это было неправильно. Взрослые не бывают с мокрыми глазами от простых вопросов. Взрослые отвечают. Взрослые знают. А если мама не знает, то кто тогда знает? Если мама смотрит так, значит, вопрос был не глупый. Значит, он был настоящий. И если он настоящий, то всё, что было вчера, — тоже настоящее, а Вере так хотелось, чтобы оно было сном. Она почти уже договорилась с собой, что это сон, что ковёр с цветами выдумала, что тень ей приснилась.

— Я просто спросила, — сказала она маленьким голосом.

— Я больше не буду.

— Нет, погоди. — Мама выключила плиту. Сделала это слишком быстро, словно плита была виновата. Она присела перед Верой — на корточки, взяв её руки в свои. Ладони у мамы были горячие от кастрюли и мокрые от полотенца.

— Смотри на меня. Что с тобой было вчера? Скажи мне словами. Что было?

И вот тут Вера увидела что-то, что не должна была увидеть. Увидела то, что потом, через тридцать лет, будет называть не памятью, а раной.

В мамином лице, за мокрыми глазами, за сжатыми губами, за всем этим напуганным, собранным, взрослым — жил страх. Но не тот страх, который спрашивает «что случилось?». Другой. Тот, который уже знает ответ. Вера умела читать лица раньше, чем читать буквы, — в их доме этому учились раньше алфавита. И она прочитала в мамином лице

вот что: мама не спрашивала, что случилось. Мама спрашивала, сколько она знает. Сколько увидела. Как глубоко всё зашло.

Мама боялась не за неё. Мама боялась за себя, за свой статус «матери».

Это понимание вошло в Веру тихо, как вода в подвал: сначала щиколотки, потом колени, и не заметишь, как окажешься по горло. Ей стало холодно и пусто, и почему-то захотелось извиниться. Извиниться! Шесть лет, страшная ночь на ковре, и она хотела извиниться, потому что расстроила маму.

— Я не помню, — сказала Вера.

— Это был сон. Мне приснилось.

— Вот и хорошо, — мама выдохнула так, будто держала этот выдох всю ночь.

— Вот и хорошо, что сон. Идёшь умываться, потом каша. И запомни: папа работает, устаёт. У него трудная работа. А ты — хорошая девочка. Ты хорошая девочка, да?

Последний вопрос был не про Веру. Вера поняла это даже сквозь шесть лет. Это был вопрос, на котором мама держалась, как на перилах. Ей нужно было услышать «да», чтобы всё это — утро, халат, мокрые глаза, разбитая посуда этой жизни — встало на место и перестало шататься.

— Да, — сказала Вера.

— Я хорошая.

Мама обняла её. Крепко, сильно, до боли почти. И в этом объятии было всё: и любовь, настоящая, не выдуманная, —

и страх, и та самая договорённость, без подписи, без слов, но железная, как замок на двери. Мы будем молчать. Мы будем хорошими. Мы сделаем вид. Если сделать вид достаточно долго, может, это станет правдой.

Вера прижалась к маме и чувствовала, как у той колотится сердце — быстро-быстро, как у птички, которую держат в руках слишком крепко. И она погладила маму по спине — гладила и гладила, потому что кто-то же должен был. Кто-то же должен был сказать этому дому: тише, тише, всё пройдёт.

Только вот не проходило.

Позже, когда Вера сидела на кухне над остывающей кашей, она смотрела на маму и складывала, складывала — по кусочку, по кусочку — то, что видела. Дети делают это постоянно, каждый день, только никто не признаётся. Они собирают взрослых как пазл из обрывков: интонация здесь, взгляд туда, движение руки мимо.

Она видела, как мама утром, проходя мимо отцовской чашки, взяла её — и замерла. На секунду. Просто стояла с чашкой в руке, и пальцы у неё были белые. Потом вымыла, как обычно, поставила на сушилку, и всё было как обычно. Но эта секунда осталась. Вера видела её.

Она видела, как мама в среду, встретив соседку тётю Люду у подъезда, засмеялась — и как смех у неё оборвался на середине, когда тётя Люда сказала что-то про «вашего, наверно, опять засиделся на работе». Мама засмеялась снова, но второй смех был из другого материала.

Она видела, как по воскресеньям мама гладила отцовские рубашки и делала это дольше, чем нужно. Всё глажено, всё ровно — а она гладила и гладила, и пар шёл из утюга, и в этом шуме можно было не разговаривать. Вера думала иногда, что утюг — это мамино место, где она прячется, как Вера прячется на ковре.

Взрослые прячутся тоже. Просто у них прятки называются другими словами: «занята», «всё нормально», «он не со зла».

«Он не со зла» — мама говорила это часто. Слишком часто, как поют одну песню, пока не разучишься её слышать. Он устал. У него трудная работа. Он любит нас, просто по-своему. У всех так. Ты не понимаешь, тебе рано понимать. Вот вырастешь — поймёшь.

Вера не понимала — но она слышала другое, то, что между словами. Между «он не со зла» и дрожью рук мамы. Между «у всех так» и тем, как мама вздрагивала от звука ключа в двери. Между «вот вырастешь» и мокрыми глазами этого утра.

Дети не знают слов «отрицание» и «со-зависимость». Но они знают, как пахнет ложь: она пахнет хлоркой в воздухе. Там, где вытерли всё и везде, где всё приглажено, отглажено, извинено и объяснено, — там пахнет страхом, который решили не замечать.

Мама знала.

Вера не могла бы это доказать, объяснить, показать пальцем. Но она знала это тем знанием, которое живёт под ко-

жей: мама знала. Знала и молчала. Знала и гладила рубашки. Знала и мыла чашки в те минуты, когда в комнате происходило насилие. Знала — и делала вид, что не знает, потому что если признать, что знаешь, тогда придётся что-то делать. А делать было страшно. Может быть, страшнее, чем терпеть. У терпения есть хотя бы форма — оно привычное, с ним можно жить, оно как старый тапок. А у «что-то делать» нет формы. Там пустота. Там надо решаться — а решаться мама не умела уже давно, если вообще умела когда-то.

Вера это простила ей. Но не сразу. Не в это утро. В это утро она просто съела остывшую кашу — всю, до дна, потому что хорошая девочка доедает, — и запомнила на всю жизнь, какой бывает каша, когда её любят через страх: тёплой снаружи и никакой внутри.

А потом случился вечер среды. Обычный, ничем не примечательный вечер, который Вера запомнила лучше многих праздников.

Они ужинали втроём. Отец ел молча, мама рассказывала про что-то — про цены, про соседей, про то, что на работе у неё теперь новая начальница. Она говорила много и ровно, как радио на фоне: так заполняют тишину, чтобы она не успела стать опасной. Вера ковыряла вилкой картошку и слушала, слушала обоих.

И вдруг отец сказал:

— Что за гам? Есть же нельзя.

Мама замолчала на полуслове. Как телевизор, у которого

выключили звук. Вилка её опустилась. А Вера увидела — видела отчётливо, как потом не видела почти ничего в этой жизни, — как мама, замолчав, опустила глаза. Не на отца. В тарелку. Она сжалась — совсем немного, на миллиметры, — но Вера это увидела, потому что умела видеть.

Мама как будто пыталась стать прозрачной. Прямо на глазах, сидя за столом, в свете лампы, она стала меньше. Так уменьшаются люди, которые давно выучили: меньше — безопаснее.

И тогда внутри Веры ее внутренние часы остановились.

Она не знала, что это. Это не было храбростью — храбрость светлая, а это было тёмное, горячее, тяжёлое, как гематома между рёбер, которая вдруг пришла в движение. Это было что-то очень старое, старше её шести лет — может, от бабушки, может, от кого-то ещё, кто жил в ней до неё.

— Мам, — сказала Вера, — а ты мне на выходных косу заплетёшь? Ту, с ленточкой?

Голос её не дрожал. Он был ровный — но не тот ровный, что у чудовища, а другой: ровный, как мостик, который перекидывают через трещину.

Мама подняла глаза. Посмотрела на дочь — и Вера увидела, как в мамином лице что-то дрогнуло, отпустило, расплылось. Мама поняла. Не всё, не слова, не смыслы — она поняла то, что понимаешь нутром: дочь заметила. Дочь закрыла ее собой. Дочь, шесть лет, взяла удар на себя и перекинула мостик.

— Заплету, — сказала мама. Голос её чуть дрожал, но она улыбнулась. По-настоящему, впервые за этот день.

— Заплету, конечно. С красной ленточкой.

Отец хмыкнул и вернулся к своей еде. Он ничего не понял. Он никогда ничего не понимал — и, может быть, это было самое странное во всей этой истории: что человек, от которого исходила вся эта гроза, сам был слеп как крот. Он не знал, что они с мамой живут по коду. Он не знал, что его дочь в шесть лет умеет гасить пожары взглядом. Он не знал, что в его доме идут тихие войны и заключаются тихие союзы, и все они — против него, но никто никогда не назовёт их войной, потому что для войны нужны слова, а у них остались только взгляды, ложки и чашечки чая.

Вера ела картошку. Ей было спокойнее, чем утром. Потому что утром она задала вопрос, который ей запретили задавать, — и мир не кончился. Он даже не дрогнул, этот мир, он только стал на миллиметр понятнее. Неправильнее — но понятнее. Так бывает: когда узнаёшь про людей что-то страшное, они не становятся хуже. И как будто неопределенность отходит в сторону, пропуская пройти чуть вперед. И от этого становится легче дышать — вот только лёгкость эта иллюзорная, она как воздух в горах: дышится, а кислорода нет.

Ночью Вера лежала и смотрела в потолок. За окном горел фонарь — тот самый, из прихожей её снов, из взрослых лет, которые ещё не наступили. Свет от него ложился на потолок жёлтым пятном, круглым, как луна, только живее: он качал-

ся от ветра, и тени веток плавали по нему.

«Я хорошая девочка», — подумала Вера, проверяя слова, как проверяют молочные зубы языком. «Я хорошая девочка, и поэтому всё будет хорошо».

Так ей объяснили. И она решила поверить. Потому что в шесть лет иначе нельзя: иначе как жить? Если папа бывает злой не из-за тебя, а просто так, из-за работы, из-за усталости, из-за того, что он родился такой, — то это неправда, которую нельзя переварить. Она слишком большая для шести лет. Она не влезает в голову. И детский ум делает то, что делают все, кому не хватает посуды для больших вещей: он перекладывает их в маленькую. «Это из-за меня. Если я буду лучше — он будет лучше. Значит, это в моих силах. Значит, я не бессильна».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.